

**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО
ЛИТЕРАТУРЕ
2024-2025 УЧ. ГОД**

9 КЛАСС

Участникам олимпиады предлагается выполнить два задания: аналитическое – целостный анализ предложенного текста по вспомогательным вопросам (максимальный балл – 70) и творческое задание (максимальный балл – 30). Внутри общего времени ученик распределяет количество времени для работы над аналитическим и творческим заданием сам. Максимальный общий балл за работу – 100 баллов.

ЗАДАНИЕ 1.

Напишите целостный анализ рассказа Надежды Тэффи «О нежности». Можно опираться на вопросы, данные ниже, но необязательно отвечать на них в том порядке, в котором они даны.

Максимальный балл – 70.

1. Какова основная тема рассказа?
2. Как построен рассказ?
3. Что вы можете сказать о повествователе?
4. Почему в рассказе говорится, что тот, кто «познал нежность – тот отмечен»?
5. Как соотносятся в повествовании истории о детях и о взрослых?

«А нежность... где ее нет!» — сказала Обломову Ольга¹.

Что это за фраза? Как ее следует понимать? Почему такое уничижение нежности? И где она так часто встречается?

Я думаю, что здесь неточность, что не нежность осуждается пламенной Ольгой, а модная в то время сентиментальность, фальшивое, поверхностное и манерное занятие. Именно занятие, а не чувство.

Но как можно осудить нежность?

Нежность — самый кроткий, робкий, божественный лик любви? Сестра нежности — жалость и они всегда вместе.

Увидите вы их не часто, но иногда встретите там, где никак не ожидали и в сочетании самом удивительном.

Любовь-страсть всегда с оглядкой на себя. Она хочет покорить, обольстить, она хочет нравиться, она охорашивается, подбоченивается, мерит, все время боится упустить потерянное.

Любовь-нежность (жалость) — все отдает, и нет ей предела. И никогда она на себя не оглянется, потому что «не ищет своего». Только она одна и не ищет.

Но не надо думать, что чувство нежности принижает человека. Наоборот. Нежность идет сверху, она заботится о любимом, охраняет, опекает его. А ведь заботиться и охранять можно только существо беззащитное, нуждающееся в опеке. Поэтому слова нежности — слова уменьшительные, идущие от сильного к слабому.

— Деточка! Крошечка!

¹ Ольга - героиня романа И.Гончарова «Обломов»



Пусть деточке пятьдесят лет, а крошечке семьдесят, нежность идет сверху и видит их маленькими, беззащитными, и мучается над ними, боится за них.

Не может Валькирия, несмотря на всю свою любовь к Зигфриду, назвать его «заинькой». Она покорена силой Зигфрида, в ее любви — уважение к мускулам и к силе духа. Она любит героя. Нежности в такой любви быть не может.

Если маленькая, хрупкая, по природе нежная женщина полюбит держиморду, она будет искать момента, принижающего это могучее существо, чтобы открыть путь для своей нежности.

— Он, конечно, человек очень сильный, волевой, даже грубый, но, знаете, иногда, когда он спит, у него лицо делается вдруг таким детским, беспомощным.

Это нежность слепо, ощупью ищет своего пути.

Одна молодая датчанка, первый раз попавшая во Францию, рассказывала с большим удивлением, что француженки называют своих детей кроликами и цыплятами. И даже — что совсем уже необъяснимо — одна дама называла своего большого мужа капустой (*mon chou*) и кокошкой (*ma cocotte*).

— И, знаете, — прибавляла она, — я заметила, что и на детей, и на больных это очень хорошо действует.

— А разве у вас в Дании нет никаких ласкательных слов?

— Нет, ровно никаких.

— Ну, а как же вы выражаете свою нежность?

— Если мы любим кого-нибудь, то мы стараемся сделать для него все, что только в наших силах, но называть почтенного человека курицей никому в голову не придет. Но странное дело, — прибавила она задумчиво, — я заметила, что такое обращение очень нравится и даже очень хорошо действует на детей и больных.

Нежность встречается редко и все реже.

Современная жизнь трудна и сложна. Современный человек и в любви стремится прежде всего утвердить свою личность. Любовь — единоборство.

— Ага! Любить? Ну ладно же.

Засучили рукава, расправили плечи — ну-ка, кто кого? До нежности ли тут? И кого беречь, кого жалеть — все молодцы и герои.

Кто познал нежность — тот отмечен. Копье архангела пронзило его душу, и уж не будет душе этой ни покоя, ни меры никогда.

В нашем представлении рисуется нежность непременно в виде кроткой женщины, склонившейся к изголовью.

Ах, что мы знаем об этих «кротких женщинах»! Ничего мы о них не знаем.

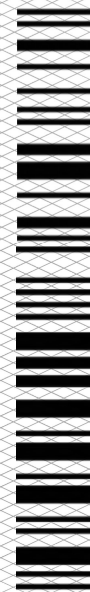
Нет, не там нужно искать нежность. Я видела ее иначе. В обликах совсем не поэтических, в простых, даже забавных.

В первый раз посетила она мою душу — давно. Душе моей было не более семи лет. Огромные семь лет. Самые полные, насыщенные и значительные эти первые семь лет человеческой жизни.

Был вечер, была елка. Были и восторг, и зависть, и смех, и ревность, и обида, — весь аккорд душевных переживаний.

И были подарены нам с младшей сестрой картонные слоники, серые с наклеенной на спине красной бархатной попонкой с золотым галуном. Попонка сбоку поднималась и внутри в животе у слоников бренчали конфетки.

Были подарки и поинтереснее. Слоники ведь просто картонажи с елки.



Я высыпала из своего картонажа конфетки, живо их сгрызла, а самого слоника сунула под елку — пусть там спит, а за ночь придумаю, кому его подарить.

Вечером, разбирая игрушки и укладывая спать кукол, заметила, что сестра Лена как-то особенно тихо копошится в своем углу и со страхом на меня посматривает.

— Что бы это такое могло быть?

Я подошла к ней, и она тотчас же схватила куклино одеяло и что-то от меня прикрыла, спрятала.

— Что у тебя там?

Она засопела и, придерживая одеяло обеими руками, грозно сказала:

— Пожалуйста, не смей!

Тут для меня осталось два выхода — или сказать «хочу» и «буду» — и лезть напролом, или сделать вид, что мне вовсе не интересно. Я выбрала последнее.

— Очень мне нужно!

Повернулась и пошла в свой угол. Но любопытство мучило, и я искоса следила за Леной. Она что-то все поглаживала, шептала. Изредка косила на меня испуганный круглый свой глазок. Я продолжала делать вид, что мне все это ничуть не интересно, и даже стала напевать себе под нос.

И мне удалось обмануть ее. Она встала, нерешительно шагнула раз, два, и видя, что я сижу спокойно, вышла из комнаты.

В два прыжка я была уже в ее углу, содрала одеяльце и увидела нечто ужасно смешное. Положив голову на подушечку, лежал спеленутый слоник, безобразный, жалкий, носатый. Вылезавший из сложенной чепчиком тряпки хобот и часть отвислого уха — все было так беззащитно, покорно и кротко и

вместе с тем так невыносимо смешно, что семилетняя душа моя растерялась. И еще увидела я под хоботом у слоника огрызок пряника и два ореха. И от всего этого стало мне так больно, так невыносимо, что, чтобы как-нибудь вырваться из этой странной муки, я стала смеяться и кричать:

— Лена! Глупая Лена! Она слона спеленала! Смотрите! Смотрите!

И Лена бежит, красная, испуганная, с таким отчаянием в глазах, толкает меня, прячет своего слоника. А я все кричу:

— Смотрите, смотрите! Она слона спеленала!

И Лена бьет меня крошечным толстым своим кулаком, мягким, как резинка, и прерывающимся шепотом говорит:

— Не смей над ним смеяться! Ведь я тебя у-у-убить могу!

И плачет, очевидно от ужаса, что способна на такое преступление.

Мне не больно от ее кулака. Он маленький и похож на резинку, но то, что она защищает своего уродца от меня, большой и сильной, умеющей — она это знает — драться ногами, и сам этот уродец, носатый, невинный, в тряпчонном чепчике, — все это такой болью, такой невыносимой, беспредельной, безысходной жалостью сжимает мою маленькую, еще слепую душу, что я хватаю Лену за плечи и начинаю плакать и кричать, кричать, кричать... Картонного слоника с красной попонкой — уродца в тряпчонном чепчике — забуду ли я когда-нибудь?

* * *

И вот еще история — очень похожая на эту. Тоже история детской души.

Был у моих знакомых, еще в Петербурге, мальчик Миша, четырех лет от роду.



Миша был грубый мальчишка, говорил басом, смотрел исподлобья. Когда бывал в хорошем настроении, напевал себе под нос: «бум-бум-бум» и плясал, как медведь, переступая с ноги на ногу. Плясал только, когда был один в комнате. Если кто-нибудь невзначай войдет, Миша от стыда, что ли, приходил в ярость, бросался к вошедшему и бил его кулаками по коленям — выше он достать не мог.

Мрачный был мальчик. Говорил мало и плохо, развивался туго, любил делать то, что запрещено, и делал явно, назло, потому что при этом поглядывал исподтишка на старших. Лез в печку, брал в рот гвозди и грязные перья, запуская руку в вазочку с вареньем, одним словом, был отпетый малый.

И вот как-то принесли к нему в детскую, очевидно, за ненадобностью, довольно большой старый медный подсвечник.

Миша потащил его к своим игрушкам, к автомобилю, паяцу, кораблю и барану, поставил на почетное место, а вечером, несмотря на протесты няньки, взял его с собою в кровать. И ночью увидела нянька, что подсвечник лежал посреди постели, положив на подушку верхушку с дыркой, в которую вставляют свечку. Лежал подсвечник, укрытый «до плеч» простыней и одеялом, а сам Миша, голый и холодный, свернулся комком в уголочке и ноги поджал, чтобы не мешать подсвечнику. И несколько раз укладывала его нянька на место, но всегда, просыпаясь, видела подсвечник уложенным и прикрытым, а Мишу голого и холодного — у его ног.

На другой день решили подсвечник отобрать, но Миша так отчаянно рыдал, что у него даже сделался жар. Подсвечник оставили в детской, но не позволили брать с собою в кровать. Миша спал беспокойно и, просыпаясь, поднимал голову и озабоченно смотрел в сторону подсвечника — тут ли он.

А когда встал, сейчас же уложил подсвечник на свое место, очевидно, чтобы тот отдохнул от неудобной ночи.

И вот как-то после обеда дали Мише шоколадку. Ему вообще сладкого никогда не давали — доктор запретил, — так что это был для него большой праздник. Он даже покраснел. Взял шоколадку и пошел своей звериной походкой в детскую. Потом слышно было, как он запел: «бум-бум-бум» и затопал медвежью пляску.

А утром няньку, убирая комнату, нашла его шоколадку нетронутой — он ее засунул в свой подсвечник. Он угостил, отдал все, что было в его жизни самого лучшего, и, отдав, плясал и пел от радости.

* * *

Мы жили в санатории под Парижем.

Санатория принадлежала русскому врачу, и почти все ее население было русское.

Гуляли, ели, слушали радио, играли в бридж, сплетничали.

Настоящих больных было только двое — чахоточная девочка, которую никто никогда не видел, и злощипый старик, поправлявшийся от тифа.

Старик часто сидел на террасе в шезлонге, обложенный подушками, укутанный пледами, бледный, бородатый, всегда молчал и, если кто проходил мимо, отворачивался и закрывал глаза.

Вокруг старика трепетной птицей вилась его жена. Женщина немолодая, сухая, легкая, с лицом увядшим и с такими тревожно-счастливыми глазами, которые точно увидели радость и верить этой радости бояться.

И никогда она не сидела спокойно. Все что-то поправляла около своего больного. То перевертывала ему газету, то взбивала



подушку, то подтыкивала плед, то бежала греть молоко, то капала лекарство. Все эти услуги старик принимал с явным отвращением, а она от страха перед этим отвращением роняла ложку, проливая молоко, задевала его газетой по носу. И все время улыбалась дрожащими губами и рассказывала всякие веселые вещи. Расскажет и засмеется, чтобы показать ему, что это смешно, что это весело. Он делал вид, что не слышит, и отворачивался.

Когда он засыпал в кресле, она позволяла себе сесть рядом и даже взять книгу. Но книгу она не читала, потому что, напряженно вытянув шею, прислушивалась к его дыханию.

Завтракал и обедал он у себя в комнате, и она одна спускалась в столовую. И каждое утро с газетой в руках она носилась от столика к столику, приветливо со всеми беседовала и спрашивала:

— Вот, может быть, вы мне поможете? Вот здесь крестословица. «Что бывает в жилом доме, в четыре буквы». Я думала «окно», но первая буква «и», потому что вертикально «женщина, обращенная в корову», значит Ио.

И поясняла:

— Я записываю на бумажке, чтобы помочь Сергею Сергеевичу. Он всегда решает крестословицы, и, если затрудняется, я ему прихожу на помощь. Ведь это единственное его развлечение. Так что уж мы с ним всегда, после дневного отдыха, предаемся этому занятию. Больные ведь как дети. Я так рада, что хоть это его забавляет. Чтение для него утомительно. Так вы не знаете, что бывает в доме в четыре буквы на «и»? Ну, так я спрошу у той барышни, что сидит на балконе.

И летит, легкая, сухая, на балкон к среднему столику, от столика еще куда-нибудь и всем приветливо объясняет, что ее

мужа развлекают крестословицы и как она ему помогает в трудных случаях.

— Знаете, больные, они как дети!

И ласково всем кивала и посмеивалась, точно все мы были в каком-то веселом с ней заговоре и, конечно, тоже радуемся, стараясь угадать трудное слово крестословицы, чтобы быть полезными очаровательному Сергею Сергеевичу.

Ее жалели и относились к ней с большой симпатией.

— Умная была женщина, бактериолог. Много научных работ. И вот бросила все и мечется с крестословицами.

— А что он собою представляет?

— Он? Да как вам сказать, — нечто неопределенное. Был как будто общественным деятелем, не из видных. Писал в провинциальных газетах. В общем, кажется, просто дурак с фанабериями.

Эти часа полтора во время завтрака были, кажется, лучшими моментами ее жизни. Это была подготовка к блаженному моменту, когда «ему», может быть, понадобится ее помощь.

И вот, как-то он выполз на террасу раньше обычного, когда кое-кто из пансионеров еще не встал из-за стола.

Она долго усаживала его, укрывала пледами, подкладывала подушки. Он морщился и сердито отталкивал ее руку, если она не сразу угадывала его желания.

Наконец он успокоился.

Она, радостно поеживаясь, схватила газету.

— Вот, Сереженька, сегодня, кажется, очень интересная крестословица.

Он вдруг приподнял голову, выкатил злые желтые глаза и весь затрясся.



— Убирайся ты наконец к черту со своими идиотскими крестословицами! — бешено зашипел он.

Она побледнела и вся как-то опустилаась.

— Но ведь ты же... — растерянно лепетала она. — Ведь ты же всегда интересовался...

— Никогда я не интересовался! — все трясся и шипел он, с звериным наслаждением глядя на ее бледное, отчаянное лицо. — Никогда! Это ты лезла с упорством дегенератки, каковая ты и есть! И-ди-отка!

Она ничего не ответила. Она только с трудом проглотила воздух, крепко прижала руки к груди и огляделась кругом с такой болью и с таким отчаянием, точно искала помощи. Но кто же может отнестись серьезно к такому смешному и глупому горю?

Только маленький мальчик, сидевший за соседним столиком и видевший эту сцену, вдруг зажмурился и горько-горько заплакал.

* * *

Он жил в одном доме с нами. Он был когда-то другом моего покойного отца, кажется, даже товарищем по университету.

Но в то время, о котором я сейчас хочу рассказать, он почти никогда у нас не бывал. Видали мы его только рано утром на улице. Он гулял со своей собакой.

Но слышали мы о нем часто. Он был очень важным сановником, очень нелюбимым и осуждаемым за ретроградство, за «непонимание момента», крутым, злобным человеком, «темной силой, тормозящей молодую Россию на ее светлом пути». Вот как о нем говорили.

И еще говорили о том, что он тридцать пять лет состоит мужем женщины, выдающейся красотой и умом.

Пройти такой стаж было, вероятно, очень тяжело.

Быть мужем красавицы трудно. Но красота пропадает, и женщина успокаивается. Но если красавица вдобавок и умна — то покоя уже никогда не настанет. Умная красавица, потеряв красоту, заткнет пустое место благотворительностью, общественной деятельностью, политикой. Тут покоя не будет.

Жена сановника была умна, писала знаменитым людям письма исторического значения, наполняла свой салон передовыми людьми и о муже отзывалась иронически.

Впрочем, сейчас я не совсем уверена в том, что эта женщина была умна. В те времена была мода на вдумчивость и серьезность, на кокетничанье отсутствием кокетства, на наигранный интерес к передовым идеям и каким-то «студенческим вопросам». Если женщина при этом была красива и богата, то репутация умницы была за ней обеспечена.

Может быть, и в данном случае было так.

Сановник жил на своей половине, отделенной от комнат умной красавицы большой гостиной, всегда полутемной, с дребезжащими хрустальными люстр, с толстыми коврами, о которые испуганно спотыкались пробежавшие с докладами молодые чиновники.

Утром, гуляя с няней, которая ходила за булками, мы встречали сановника. Он гулял со своей огромной собакой, сенбернаром.

Сановник был тоже огромный, обрюзгший и очень похожий на свою собаку. Его отвислые щеки оттягивали вниз нижние веки, обнаруживая красную полоску под глазным

яблоком. Совершенно как у сенбернара. И так же медленно ступал он тяжелыми мягкими ногами. И шли они рядом.

— Ишь, собачища! — сказала раз нянька.

И мы не поняли, о ком она говорит — о сановнике или о его собаке. «Собачища» ему подходило, пожалуй, больше, чем ей. У него лицо было свирепое.

Нас очень интересовала эта огромная собака. И раз, когда сановник остановился перед окном книжного магазина, и собака остановилась рядом и тоже смотрела на книги, младшая сестра моя вдруг расхрабрилась и протянула руку к пушистому толстому уху, которое было на уровне ее лица.

— Можно погладить собачку? — спросила она. Сановник обернулся, весь целиком, всем туловищем.

— Это... э-это... совершенно лишнее! — резко сказал он, повернулся и пошел.

Я потом за всю свою жизнь никогда не слыхала, чтобы кто-нибудь говорил таким тоном с трехлетним ребенком.

Действительно, — точно гавкнула собачища.

Дети страшно остро чувствуют обиду и унижение.

Я помню до сих пор, как она втянула голову в плечи, стала вся маленьким жалким комочком и заковыляла к няньке.

Мы еще раза два-три видели их — его и собаку. Потом почему-то перестали их встречать.

И вот раз вечером, уже лежа в постели, услышала я нечто. Рассказывала горничная нашей няне, и обе смеялись.

— И злощий был презлющий. Чиновника своего прогнал и повара рассчитал, и швейцару нагоняй. Трех ветеринаров созвал. Ну, однако, пес евонный окошел. Ну, прямо и смех, и грех, он его трогать не велел, а положил в зале в углу на ковер. Лакей Петро рассказывал — сидит, говорит, злощий, аж весь черный, у

себя в кабинете, пишет-пишет, потом встанет да так тихомольно крадучись, в залу пройдет, нагнется к собаке-то, лапу ей поцелует — ну, ей-Богу, умора! Да опять тихомольно к себе в кабинет. Сядет и пишет. Попишет-попишет, задумается, да опять, да на цыпочках, раскорякой — и идет в залу. Лакей Петро позвал Семена кучера, да Ариша ихняя — там за дверью в передней все видно — так прямо все животики надорвали.

— Гос-с-споди спаси и помилуй! — ахала нянька. — Собачью лапу!

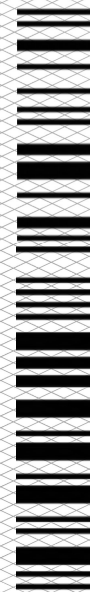
— Да ведь всю-то ноченьку так и не ложился. Ну и поохотали же мы! Ноги, говорит, внутрь завернет, ровно барсук, брюхом переваливает, думает — никто и не слышит, как он в залу-то. Сущая комедь! Прямо, говорит, театру не надо.

— Ну-ну!

ЗАДАНИЕ 2.

Прочитайте три стихотворения Булата Окуджавы. Что их роднит? Какие нравственные ценности утверждаются в них? Какие художественные средства используются автором для выражения темы? Попробуйте, исходя из прочитанного, смоделировать образ поэта. Что бы вы о нем сказали? Как бы вы его представили человеку, вообще не знакомому с его творчеством? Ответ напишите в форме эссе (150-200 слов). Придумайте заглавие для своего эссе.

Максимальное количество баллов – 30.



ПОЖЕЛАНИЕ ДРУЗЬЯМ

Ю. Трифонову

Давайте восклицать, друг другом восхищаться.
Высокопарных слов не стоит опасаться.
Давайте говорить друг другу комплименты -
ведь это все любви счастливые моменты.
Давайте горевать и плакать откровенно,
то вместе, то поврозь, а то попеременно.
Не нужно придавать значения злословью -
поскольку грусть всегда соседствует с любовью.
Давайте понимать друг друга с полуслова,
чтоб, ошибившись раз, не ошибиться снова.
Давайте жить, во всем друг другу потакая, -
тем более, что жизнь короткая такая.
1975

Песенка

Совесь, Благородство и Достоинство —
вот оно, святое наше воинство.
Протяни ему свою ладонь,
за него не страшно и в огонь.
Лик его высок и удивителен.
Посвяти ему свой краткий век.
Может, и не станешь победителем,
но зато умрешь, как человек.
1988

Белле Ахмадулиной

Чувство собственного достоинства - вот загадочный инструмент:
созидается он столетиями, а утрачивается в момент
под гармошку ли, под бомбежку ли, под красивую ль болтовню,
иссушается, разрушается, сокрушается на корню.
Чувство собственного достоинства - вот загадочная стезя,
на которой разбиться запросто, но обратно свернуть нельзя,
потому что без промедления, вдохновенный, чистый, живой,
растворится, в пыль превратится человеческий образ твой.
Чувство собственного достоинства - это просто портрет любви.
Я люблю вас, мои товарищи - боль и нежность в моей крови.
Что б там тьма и зло ни пророчили, кроме этого ничего
не придумало человечество для спасения своего.
Так не траться, брат, не сворачивай, плюнь на вздорную суету -
потеряешь свой лик божественный, первозданную красоту.
Ну зачем рисковать так попусту? Разве мало других забот?
Поднимайся, иди, служивый, лишь прямехонько, лишь вперед.
1989

